

— не видеть, не слышать, не дышать. Умереть. Но дыхание пришло с другой стороны: меня снова потащили на прос, отдышаться не дали. И легче стало. И я верю в неминувность свободы. К черту птицу-тройку, ту, что летит, минит и подписывает приговоры. Свобода соединится с Россией!»

Вот та игра случая, та прихоть свободного духа, что обретает себя самым неожиданным образом. Легче стало. Вырвался человек из цепкого сна необходимости и увидел свободную Россию<sup>7</sup>.

Да и не может быть иначе. Если закрепощенность личности идет к закрепощенности общества, о чем совершенно точно говорили и Чаадаев, и Герцен, и Гроссман, то освобождение человека есть шаг к освобождению страны.

Это долгий путь. И именно тяжесть этого пути гнула писателя, заканчивавшего «Все течет» на пороге смерти. Потому так горек мотив старости, потому такое отчаяние дышит последние страницы, читая которые понимаешь: Анна Сергеевна умрет.

Это ей шептал-кричал Иван Григорьевич свою мечту о свободной России, и его крик-шепот разбивался о подступающее безмолвие: «Ты не слышишь меня! Когда же ты решишься ко мне из больницы?»

«О Русь моя, жена моя...» — поневоле вспомнишь обращение Блока. Смерть Анны Сергеевны обретает символические черты. Одинокий рыцарь, Дон Кихот из ГУЛАГа теряет конец-то найденную Прекрасную Даму. С Анной Сергеевной умирает мечта героя о свободной России.

А разве не умирает свободная и чистая Россия со смертью каждого свободного и чистого человека, будь то девочка Настя платоновского «Котлована», Юрий Андреевич Живаго или женищинская Матрена? Пастернак, глубоко и счастливо верующий в Бога, мог закончить роман словами о воскрешении, о победе духа над смертью. У Платонова и Солженицына — свои надежды и чаяния. Гроссман же, в последние годы, только можно судить по его письмам С. И. Липкину и «Доброму», мучительно искавший пути к Богу, оставался все же при своей вере в человека. Это было тяжело. И не нам судить его отсюда, то, во что и как он верил. Не мне, во всяком случае.

Последняя глава «Все течет» полна глубокой печали, печаль эта, которой не смягчают ни ласковое солнце, ни легкий ветер, ни могучее море, тенью ложится на все те сны, чаяния, раздумья, сквозь которые вел нас неумолимо дорогой к себе и к нам умирающий писатель. Нет отчего дома, земля любимая, не воскресить погибших, не вернуть молодости, радости, чувства счастья и свободы. Старый жет о странствователе, вернувшемся домой, тает на глазах.

Эсхин возвращался к Пенатам своим,  
К брегам благовонным Алфея.  
Он долго по свету за счастьем бродил —  
Но счастье, как тень, убежало.

Не за счастьем путешествовал в страну теней герой Гроссмана. И, вернувшись домой («Теперь на Итаку везут по плу»), — пел будущий изгнанник Галич о эже Мандельштаме), встретил мудреца Теона, что мог бы сказать ему: «Все жизни к великому средству». Не тот сюжет. Не то солнце светит. Не тот южный день, и не так дышит море.

Впрочем, и во времена Жуковского бывало по-разному. Друг поэта, декабрист Гавриил Степанович Батеньков, почтил счастую годовщину смерти Жуковского странным стихотворением — полемической вариацией «Теона и Эхина». На слова Жуковского-Теона о «верных благах», что выше «наслаждений минутных», о том, что, утратив их, скиталец Эсхин «жизнь созерцать научился», Батеньков, отсидевший двадцать

лет в одиночной камере, ответил строфой, в которой горечь смешалась с гордостью, безысходность — с печалью, оттого что исхода не видно:

Неторной дорогой я шел по земле,  
Стремясь к недоступной мне цели,  
Но, верные блага утратив свои,  
Я жизнь презирать научился.

Гроссман не мог читать этих стихов Батенькова, опубликованных впервые в 1978 г., да и не было у него за плечами тюрьмы. Была лишь боль, вечное страдание за каждого. Была тяга встать рядом с Иваном Григорьевичем, тяга, чреватая срывом, отчаянием, презрением к жизни — и в то же время единственно спасающая от приближающегося небытия. И кажется мне, что мог бы Гроссман поставить эпиграфом к своей книге-завещанию слова из того же батеньковского стихотворения:

Кто боль испытал невозвратных потерь,  
Тот, верно, меня не осудит...

P. S. На этом в нормальной ситуации надо было бы кончить. Но ситуация, увы, другая. Поэтому я долгом своим почитаю выразить чувство глубокой признательности редакции журнала «Октябрь». Во-первых, за сознательное мужество. Во-вторых, за уважение к выдающемуся писателю. В-третьих, за подлинное доверие к нравственному чувству и уму сегодняшнего читателя, способного понять и разделить боль Гроссмана.

Н. Рубцов

## Как человеком быть

Владимир ТЕНДРЯКОВ

Рассказы

«Новый мир», 1988, № 3

Охота

«Знамя», 1988, № 9

На блаженном острове коммунизма

«Новый мир», 1988, № 9

Люди или нелюди

«Дружба народов», 1989, № 2

Построенные на документальном и фактографическом материале рассказы В. Тендрякова, пришедшие, наконец, к читателю, как бы возвращают жанру его первоначальный, этимологический смысл: перед нами именно рассказы о действительно происходивших событиях, свидетелем или очевидцем которых был сам автор.

Однако оценивать значимость рассказов тем, что их документализм отвечает духу нашего времени, ликвидировать дефицит информативности, было бы неверным: это подлинно художественные произведения, с точным, по-тендряковски выверенным сюжетом, с умело развешанными «ружьями», когда бытовая деталь приобретает глубинный символический смысл, а штрих психологической характеристики персонажа работает на «сверхзадачу» — выявляя черты всечеловеческой природы. И если во всем этом ощущается свойственная В. Тендрякову публицистичность и некоторый рационализм

<sup>7</sup> Что же касается прошлого нашей страны, то и в нем Гроссман мог бы увидеть не только «всегдашнее рабство» — стоило лишь обратиться к исторической конкретике, к реальным судьбам крестьян и поэтов, монахов и солдат, революционеров и ученых. Но без свободы нет истории, нет личности, нет того движения века, без которого не было бы ни любимых героев Гроссмана, ни его самого. И здесь пушкинские контраргументы в споре с Чаадаевым остаются в полной силе.

конструкции, то они вполне искупаются авторской страстностью, заражающей и читателя. Жизнь представлена здесь в резких контрастах «счастья бытия и угнетенных лиц», в борьбе противоположностей, напряжением которой пронизаны все составляющие произведений, начиная с конструкции фразы и кончая своеобразным тендряковским синтаксисом.

Человек и мир, человек и народ — вечные проблемы, особенно обостряющиеся в моменты изломов истории. Об этом, в сущности, почти все названные выше рассказы Тендрякова. И здесь уместно было бы начать разговор с последней по времени публикации — «Люди или нелюди», давшей, на наш взгляд, нравственно-философскую окраску всему циклу.

Что такое человек: капля воды в людском океане, несущая в себе все его признаки, или независимое единство противоречий, придающее океану определенные свойства? Вопрос столь же прост, сколь и сложен, ибо единство противоречий в человеке может вызвать и восторг перед величием его души, и ужас перед бессмысленной и тупой жестокостью.

В самом деле, как не подивиться широте, отзывчивости и благородству пожилого солдата дяди Паши, радующегося, что в их подразделении приютился пленный немец Вилли. С ним, завоевателем, пришедшим на советскую землю, солдаты легко делят свой кусок хлеба. А через некоторое время рассказчик станет свидетелем того, как те же самые добрые люди в испуге будут поливать водой на морозе голого Вилли, пока тот не превратится в ледяной колокол. Конечно, их жестокость — ответ на жестокость фашистов, заморозивших таким же образом советских пленников. Как не вспомнить строки сурковского стихотворения «Кто его посмеет обвинить, если будет он в бою жесток?». Но ведь здесь не бой, здесь иное... Люди перестали быть людьми. Что это? Почему дядя Паша, добрейший человек, стал инициатором жестокой расправы над пленным, к которому раньше не испытывал никаких враждебных чувств? Как произошла нравственная деформация человека? С чего начинается Зло? Писатель предлагает нам гипотезу: «...все-таки без сложившейся системы дядя Паша бы до палача не дорос».

Итак, слово, кажется, найдено: «система» — то, что порождает нравственно-психологическую атмосферу, определяющую поведение людей, их образ мысли и чувствований. Об этом рассказ «Параня», который можно было бы считать анекдотом, если б не отражал он типические обстоятельства времени, когда очевиднейшие нелепости оборачивались драмами и трагедиями.

Защищаясь от оскорблений и приставаний, поселковая дурочка Параня находит выход, подсказанный ей репродукторами, сутками распеваящими величальные Сталину. И вот насмешки над Параней, объявившей Сталина своим женихом, сменяются страхом: повинуюсь тощему пальцу дурочки и ее бессмысленному бормотанию о «свирженьи-покушеньи» на «родного и любимого», арестовывают ни в чем не повинных людей. И аресты продолжают, пока «нареченная невеста вождя» не гибнет от свинчатки местного хулигана и вора, предпочитающего сесть в тюрьму за убийство, а не пострадать пятьдесят восьмой статье. Кажется бессмысленным искать виновных в абсурдном порочном круге бытия, но и в абсурде тоже есть своя логика, основанная на человеческих пороках и слабостях.

«Параня» — это тоскливый стон о другом человеке, призыв к его гордому и всесильному разуму. Недаром над убитой убогой женщиной разносятся слова о величии человека, который «в моменты утомления творит богов, в эпохи бодрости их низвергает...».

Вряд ли еще найдется в нашей литературе свидетельств такой впечатляющей силы и боли, как рассказ «Хлеб для собаки». Нет, небеса не обрушиваются здесь на землю, и писатель не рвет на груди рубаху в слезливом покаянии за то, что видел и не мог остановить смерть других людей. Нет и гневного пафоса в авторской интонации, преобладает скорее спокойный, объективизированный тон, а это еще страшнее. И самое страшное заключено не в том, что умирающие «куркули» едят пристанционный мусор, а в том, что

общественная психология начала 30-х была таковой, что вынуждала всех остальных людей одновременно и содрогаться от виденного, и оправдывать его суровыми условиями классовой борьбы. Это тот стереотип мышления, разрушить который мы не смогли до сих пор.

Почему Володька Тенков, от лица которого ведется повествование, не сошел с ума, а вслед за взрослыми фатально принял действительность, смирившись с ней как с необходимостью? Он сам ответит на этот вопрос: «Не сходил я с ума еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном безрыбьячке умирали среди бела дня, — враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж... попали в безрыбьяк».

Ценность рассказов В. Тендрякова состоит, на наш взгляд, не только в правдивом воспроизведении минувшего, но и в том, что писатель попытался вплотную подойти к анализу нравственно-психологической атмосферы «культурских» лет, чего, признаться, пока еще недостает нашей литературе.

На фоне искусственно взвиренной классовой борьбы в деревне предстает в рассказе «Пара гнедых» «культурный хозяин» Коробов, умеющий заранее рассчитать возможные политические ходы советской власти. И как пророчески звучат его слова, сказанные партийному работнику Федору Тенкову, осуществляющему коллективизацию: «Мы еще усядемся вместе за красный стол... Хотя... ты прям, как дышло, такие не гнутся, да быстро ломаются. За красным столом, уж верно, с товарищем Смолевичем посижу». И кто даст гарантию, что такие прозорливцы, как Коробов, предостаточно избавившиеся от частной собственности, отдавшие нажитое в колхоз, в общество «Друг детей», подарившие беднякам коней, в самом деле не сядут за руководящий стол в будущем и не извлекут максимум пользы для себя из последующих политических кампаний?..

«Если вырастает убийца-вождь, значит, есть и питательная среда... Народ свят и безгрешен? Ой нет, народ — всякое. Выделяется из себя и светлое и мутное». Так говорит в «Охоте» странный интеллигент, с которым встречается на бульваре рассказчик. Увы, в далеком 1948 году слова незнакомца могли вызвать только недоумение. Сейчас пришло время для осмысления вины и беды народа, хотя понятие «вина народа» на самом деле едва ли правомерно. В сложном диалектическом единстве «народ — государство — правительство» вопрос не сводится к антиномии «тиран и народ». Поэтому и гуманизм В. Тендрякова несводим к понятийным категориям, художественно-аналитическая мысль писателя обращает нас прежде всего к «проклятому» вопросу, которым мучился еще Ф. М. Достоевский: является ли сам человек органическим носителем зла или нет?

Сегодня, листая подшивки газет 20—30-х годов, никак не отделаешься от мысли, что читаешь библейскую книгу Бытия наоборот, — по логике развязанного в те годы зла виновник гибели своего ближнего часто погибал по воле тех же обстоятельств, которыми хотел воспользоваться в своих интересах. Поэтому и сама логика кажется ущербной. Почему Искин, герой «Охоты», не защитил своего несправедливо осужденного друга Вейсаха? Ему-то, человеку, который не участвовал в оппозициях, не имел связи с границей, писал всю жизнь лояльные статьи, который решительно поддерживал Фадеева, казалось бы, бояться нечего? Стоит, однако, прислушаться к внутреннему голосу Искина, чтобы понять, почему начинает исчезать у него чувство острой «неловкости» после предательства друга: «Семен Вейсах тоже ведь бывший рабкор. И, конечно же, рабкорское, непримиримое в нем живо до сей поры: мир жестко делится на своих и чужих, середины нет и быть не должно, любая половина — предсудительна, если не преступна... Семен Вейсах поступил бы точно так же». И вот уже делается зыбкой мера человечности; идеологический закон, доведенный до исполнительского автоматизма, определяет психологическую атмосферу времени, а идея-фетиш становится надчеловеческой силой и одновременно обстоятельством, оправдывающим все, что угодно, вплоть до предательства.

Трудно заподозрить Фадеева в неискренности, когда он объясняет своему собрату Искину, почему он клеймил его на

собрании. В противном случае, мол, на «космополита» обрушилась бы десятикратная ярость зала. Но вот дальше здравая как будто логика частного случая ищет оправдания в алогизме истории: «Мы, видно, еще плохо представляем, какой пожар мы запалили. Пожар, уничтожающий дикий лес, чтобы вместо дикорастущих росли полезные злаки. В сжигающем нас огне, Юлька,— глубинная правда!» В искренности этого суждения можно сомневаться, но нельзя не учитывать его силу в те годы.

Сарказмом и горькой иронией окрашены воспоминания В. Тендрякова о знаменитой встрече Хрущева с творческой интеллигенцией, где руководитель государства не захотел понять и тем более принять неунифицированный образ мыслей некоторых писателей и художников («На блаженном острове коммунизма»). Уходит с приема оскорбленная Маризтта Шагинян, заявив, что не привыкла к тому, чтобы ее попрекали куском хлеба, мертвец лоб у Маргариты Алигер, не выдержавшей державного гнева генерального секретаря,— в таком контексте писатель предлагает нам своего рода теорию, объясняющую заурядность мышления государственного деятеля, вынужденного в силу своего положения «прибегать к общепризнанным шаблонам, к элементарным понятиям, духовно соответствовать усредненной заурядности в человеческом обществе».

«Как это ни обидно,— пишет он,— но ум и проницательность среди высоких политических деятелей, тех, кто возглавляет людей, руководит жизнью,— скорей исключение, а не нормальное явление».

В. Тендряков воздает должное Хрущеву, его смелости, упрямству недюжинной мужицкой натуры, но весьма уместно приводит здесь и остроу Черчилля: «Этот человек всегда стремился перепрыгнуть пропасть в два приема». Хрущев ниспровергал Сталина, но не вырывал корни, порождавшие культ. Хрущев, как и его преемник, вышел из шинели генералиссимуса и не избежал соблазнов сначала тайно, а потом и явно примерить на себя державную униформу, которая обязывала и вести себя соответствующим образом.

Впрочем, нравственный пафос рассказа «На блаженном острове коммунизма» не в оценке Хрущева, не в описании «блаженного острова» с его многочисленными контрольными постами, а в горечи за поправное достоинство и культивируемое самой же «творческой интеллигенцией» человеческое унижение. Картина угодливой карусели вокруг Хрущева достойна кисти Босха: «А к нему лезли и лезли, заглядывая в глаза, толкались, оттирали, теснились, и улыбались, улыбались... И каждый, кто сейчас пробился поближе, прикоснулся к всесильной руке, рассчитывает унести в себе частицу самодержавной силы». А встреча-то происходит не во времена культа, а через четыре года после его осуждения, увы...

Рассказы В. Тендрякова не отнесешь к «чародейству красных вымыслов», они — тяжелая реальность, заставляющая еще раз задуматься над возможностями человека в его противостоянии злу, заложенному в нем самом. Беспредельность добра и фатализм зла обозначены у писателя двумя условными пределами — нагорной проповедью Христа и пушкинским стихотворением «Свободы сеятель пустынный...», последние строки которого, кажется, уже не оставляют места иллюзиям. Впрочем, бессильное отчаяние перед косностью, равнодушием людей приводило поэта не только к выводу о бесплодной потере «благих мыслей и трудов», но и к более мрачному: «На всех стихиях человек тиран, предатель или узник» (что, кстати, составило один из этических мотивов романа В. Тендрякова «Покушение на миражи»).

В. Тендряков не приемлет крайних пределов: ни благостных и не оправданных исторической практикой призывов к нравственному самоусовершенствованию, ни фатального взгляда на низменность человеческой природы. Но сами такие пределы важны для него как рамки при размышлениях о человеке и народе, где люди живут в системе отношений, ими же созданных. Отсюда и нравственный закон, с которого, по мнению писателя, должно начаться изменение нашего бытия: «мое — в тебе, твое — во мне!». Закон этот вечен

в своей непреложности, он единственный может помочь нам отличить людей от нелюдей.

И еще одно утверждает писатель: человек не может состояться без ощущения того «болевого порога», который определяется совестью. Именно она, совесть, заставляет мальчишку Володю Тенкова подкармливать в голодный год несчастное существо — бродячую собаку. С трудом удерживает от бунта свою совесть отец Володьки, партийный работник Федор Тенков, не понимающий происхождения в стране событий. Кончает жизнь самоубийством начальник станции, у которого, как видно, не нашлось собаки, чтобы заглушить мальчишескую совесть. Совесть, очевидно, заставила и Фадеева перед выстрелом в себя написать в ЦК письмо, содержание которого до сих пор остается тайной. Да и сам В. Тендряков, писавший в тяжелые застойные годы свои произведения, пусть «в стол», — тоже проявление живой совести, сохраняющей в человеке непримиримость ко злу.

При всем сюжетном разнообразии рассказы В. Тендрякова составляют единый цикл, скрепленный не столько личным участием рассказчика в событиях, сколько единым нравственным цементом протеста против унижения человеческого достоинства. Хочется верить, что подобный «беспощадный реализм» — не только попытка художественного прорыва к «белым пятнам» в прозе, но и залог ее будущих качеств.

Андрей Василевский

## «Бред разведок, ужас Чрезвычайек»

Владимир ЗАЗУБРИН

Щелка

Повесть о Ней и о Ней. «Сибирские огни», 1989, № 2; «Енисей», 1989, № 1

Строка, вынесенная в название рецензии, взята у Максимилиана Волошина — из стихов о гражданской войне. В другом стихотворении того же периода он писал: «...И всеми силами своими / Молось за тех и за других». За красных и за белых. И одновременно против красного и белого террора. Это была его принципиальная позиция<sup>1</sup>. Владимир Яковлевич Зазубрин (1895—1938) так сказать о себе не мог. Он однозначно был на стороне красных, на стороне красного террора. Кровь его не пугала, скорее заворачивала. Но путь его к красным был не так прост и прям, как могло бы показаться. До революции он еще мальчишкой сидел за прокламации. В августе 1917-го был мобилизован в армию, с сентября — в петроградском Павловском военном (юнкерском) училище; как сообщает справочник «Великая Октябрьская социалистическая революция», это училище не принимало активного участия в известном юнкерском мятеже конца 17-го года против большевиков. Гражданская война застала Зазубрина (его настоящая фамилия — Зубцов) в Сибири. В 1918 году его, как юнкера, мобилизовали в колчаковскую армию, послали в Иркутское военное училище; «...я вех никогда не менял и идейно колчаковцем не был никогда», — настаивал он позднее в письме Ф. Березовскому от 27 марта

<sup>1</sup> О некоторых внутренних противоречиях волошинской позиции см.: Василевский А. Волошин ожидаемый и неожиданный. — Октябрь, 1989, № 9